18+

Юрий Алаев

Дагерротипы



Юрий Алаев

Дагерротипы

«Издательские решения»

Алаев Ю.

Дагерротипы / Ю. Алаев — «Издательские решения»,

Это роман о взрослении в захолустном городке с начала правления Брежнева, прощания с «оттепелью» и до Пражской весны — начала «застоя».Горка Вершков устраивается учеником в фотоателье и здесь ему открывается странный мир — двоящийся и преломляющийся, где реальность и вымысел легко меняются местами в зависимости от того, как лёг свет, а прошлое прорастает в настоящем. Это эффект дагерротипа, зеркала с памятью. Постепенно Горка понимает, как трудно найти свой путь, когда он определен за тебя.Книга содержит нецензурную брань.

© Алаев Ю.
© Издательские решения

Содержание

Дагерротипы 6
Кровь и клей 7
Представление 9
Причиндалы 11
Лакировка действительности 13
Шаромыга 15
Ленина нет, а Гольдин есть 17
Кадры решают 19
Маша Простакова 21
На испуг 25
Фотоаппарат, велосипед и жена 27
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Дагерротипы

Юрий Алаев

Корректор Ольга Рыбина

© Юрий Алаев, 2026

ISBN 978-5-0071-5201-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дагерротипы

Дагерротип — старинная технология получения фотоснимков. Изображения, сделанные с её помощью, напоминали отражение в зеркале и поэтому часто называлась «зеркалом с памятью». В зависимости от наклона пластинки к источнику света при рассматривании дагерротип может выглядеть как позитив или как негатив. Это позволяет видеть нормальный снимок только под определённым углом, но в то же время создаёт иллюзию реальности образа, не передавая его подлинного вида.

Кровь и клей

31 августа 1964 года Горка Вершков вышел на работу в токарный цех Бугульминского механического завода, а уже в конце сентября подал заявление об увольнении. Завод за месяц сломал его, и не помогли ни романтическая память о ликстановском Малышке, который так здорово вытачивал снаряды для фронта и был примером для Горки, ни трезвое понимание, что без его зарплаты им с матерью придётся перебиваться с хлеба на воду.

Это поражение уязвило Горку, и он стал копаться в себе, пытаясь понять, как же так вышло.

На самом деле проблема возникла, подумал Горка, из-за того, что он никак не мог изменить привычный образ жизни: он по-прежнему запоем читал, ложился, соответственно, за полночь, а к семи уже надо было тащиться на смену, а после, прикорнув после позднего обеда, браться за уроки, чтобы к шести сесть за парту в ШРМ, «шаромыге», как называли новую Горкину школу — рабочей молодёжи, и сидеть до девяти, а потом бежать домой, наскоро ужинать и хвататься за очередную книжку, — какой пятнадцатилетний организм такое выдержит? Горкин не выдержал.

Но и другое было: он, может, и выдержал бы, если бы не отношение к нему на заводе, какое он почувствовал, — со стороны бригадира Святкова и начальника цеха Горбунова. Они смотрели на Горку как на… как на какую-то деталь, которая и не нужна, и выкинуть нельзя; приходится возиться, приспосабливать.

Дело в том, что по закону Горку не должны были принимать на завод — по возрасту, а приняли после того, как мать добилась решения горисполкомовской комиссии по делам несовершеннолетних. Она упирала, конечно, на то, что была матерью-одиночкой и фронтовичкой, но дело решило не это, как Горка позже узнал, а то, что у него был «привод» и, значит, он подлежал трудовому перевоспитанию. Так дурацкая история с ножом, который Горка метнул год назад в дверь класса и едва не убил завуча, как считал инспектор детской комнаты милиции, из очевидного минуса, пятна на биографии, как говорили, сыграла в плюс.

Хотя как сказать, смотрели-то на него не только как на деталь, вдруг сообразил Горка, а ещё как на зверёныша, от которого можно ждать чёрт-те чего. Так что пятно никуда не делось.

Но окончательно Горку добило «отмечание» его первого месяца на работе.

В тот день бригада собралась после смены в закутке, служившем раздевалкой, кто-то бухнул на неструганый стол банку клея БФ-2 размером с противотанковую мину, с неё с визгом срезали «болгаркой» крышку, высыпали в банку полпачки соли, Святков взял электродрель, обмотал сверло ветошкой и запустил в вязкой массе клея. Через пару минут он извлёк сверло, со значением показал Горке (оно походило на говяжью голяшку) и кивнул на банку, в которой осталась какая-то мутная жидкость.

Горка наблюдал, соображая, чего вдруг тут решили устроить урок то ли химии, то ли физики. Недоумение сменилось тихим ужасом, когда жидкость разлили по стаканам и бригадир протянул один Горке.

— Давай, — сказал, — с трудовым крещением, как гриться!

Горка вдруг вспомнил, как они с отцом пили бычью кровь на мясокомбинате, когда у него, пятилетнего, нашли малокровие, с ненавистью посмотрел на Святкова и выскочил из закутка, с треском хлопнув дверью.

Неделю Горка с матерью пребывали в молчаливых раздумьях, а в пятницу вечером, вернувшись с работы, она спросила Горку:

— Тебе ведь нравилось фотографировать, почему забросил?

Горка опешил, а мать, не дожидаясь ответа, сообщила:

— В понедельник выйдешь на работу в фотоателье, я договорилась.

— В какое ателье, — растерялся Горка, — зачем?

— В номер один, напротив «стекляшки», — уточнила мать и поджала губы, глядя мимо Горки в окно.

Горка тоже посмотрел в окно (там виднелась лениво перебиравшая ветками берёза) и затосковал: мать опять поступила с ним как с несмышлёнышем, да хуже — как с вещью, которой она вправе распоряжаться по своему усмотрению. Хотя Горка понимал: она это не со зла, а от безысходности, реальной или кажущейся ей.

Они обустроились в своей недавно счастливо обретённой «однушке» нормально, обновили мебель и даже купили стиральную машину, которая стоила 80 рублей, целую материну зарплату, и, чавкая бельём, содрогалась и прыгала в клетушке «совмещённого санузла», но эти затраты подточили, похоже, скудные запасы матери «на чёрный день», как она говорила, а цены в магазинах и на базаре ползли всё вверх и вверх, а Горка, бывало, зачитываясь очередным романом, за один присест сжирал ночью целую банку тушёнки (вкуснятина — прозрачное желе, куски сочной постной говядины, лаврушка…), которой должно было, по замыслу матери, хватить и на суп, и на второе для двоих, — как тут на всё напастись? Единственный способ — пристроить сына, чтобы и он, значит, «нёс в дом».

Горка полночи проворочался без сна, обдумывая все эти перипетии и гася злость на мать, а утром полез на антресоли, выгребать свои фотопринадлежности.

Всё было на месте — фотоаппарат «Любитель», который отец подарил Горке после пятого класса, увеличитель УПА, кюветы и пинцеты, несколько катушек проявленной плёнки и фотографии.

Фотографии были дурацкие, с друзьями в основном: Равилька в «водолазке», целящийся из поджига в объектив, Розочка и Гусман на фоне акаций (акациями были усеяны все основные бугульминские улицы, в пору цветения они выглядели очень красиво, но в чёрно-белом изображении красота терялась — ряды пёстрых кустов, уходящие вдаль, и всё), опять Гусман, на вздыбленном велике (Горка снимал с земли, и Гусман выглядел как медный всадник, если бы кто снял его из-под копыт; а, может, кто и снял, подумал Горка), ледоход на Бугульминке (полторы льдинки, наехавшие друг на друга, и пенящаяся вода)…

Один снимок, 13×18, лежал отдельно, в конверте: два мужика в затрапезных зипунах, в треухах и валенках с галошами идут рядом с лошадью, запряжённой санями, а на дворе весна, снега нет. Эта унылая лошадь, тянущая сани по асфальту, и эти унылые мужики впечатлили Горку, он заснял, потом показал снимок руководителю фотокружка в Доме пионеров, и тот, ухмыльнувшись, посоветовал отдать его в городскую газету. Горка отнёс, непонятных лет человек в больших коричневых очках глянул на фото, потом на Горку и сказал бесцветным голосом: «Такое нам не подходит, вам надо хорошенько поучиться, молодой человек». Сунул снимок в конверт и вернул Горке. Приговор — не приговор, но как-то Горка охладел после этого к фотографии. Теперь, значит, пришло время поучиться настоящим образом.

Горка понял, что ничего он своим новым работодателям не предъявит, пусть всё будет как с чистого листа.

Представление

Дом, который занимало фотоателье №1, поставил Горку в тупик. Это была большая, посеревшая от времени бревенчатая изба с крыльцом о трёх ступенях, с обшитой дерматином дверью, из-под которого торчали кое-где клочья ваты, и одним окном справа от двери, — три других, ещё правее, были забраны жухлыми фанерными листами. Какое фотоателье, кто сюда пойдёт? А напротив светилась жёлтым пятиэтажка сталинского ампира, сверкал витринами встроенный в первый этаж универмаг, а наискосок, на углу Ленина и Мусы Джалиля, был вход в горсад, обнесённый ажурным железным забором — совсем другая картина! Как будто вот тут — город, а тут — захолустная деревня. Эффект усиливало то, что рядом с избой фотоателье ничего не было: с одной стороны — пустырь и овраг, на другом краю которого светлела в низине «Мунча», а с другой — выкрашенный густо-зелёным железный решётчатый забор, за которым был тоже пустырь! Нет, не только: присмотревшись, Горка разглядел, что там сбоку стояло какое-то шлакоблочное здание, вроде казармы, но общей картины это не меняло.

Вообще-то в те годы вся Бугульма вот так делилась: часть города усиленно застраивалась новыми домами, а нефтяники так и нечто вроде коттеджей принялись сооружать (тогда это были «финские домики»), а другая оставалась довоенной, если не дореволюционной — купеческой и работной, но Горке было не до обобщений, его кольнуло предчувствие, что попал он куда-то не туда. То есть вот прямо сейчас собирался попасть: был понедельник, полдевятого утра, а в девять должен был начаться его первый рабочий день на этом новом, а на самом деле старом месте. Горка вздохнул, взошёл на крыльцо и открыл дверь.

— Закрыто! — с порога остерегла его сидящая у окна за конторским столом девица с лицом луковицы, к которой были прилеплены вызывающе пухлые губы и курносый нос, — работаем с девяти.

— Я как раз на работу, — грустно сказал Горка.

— А, ученик! — вдруг обрадовалась девица, — Михаил Петрович, ученик пришёл! — И Горке: — Пройди… те в павильон.

Горка шагнул в «павильон», отделённый от конторки матерчатым пологом.

В павильоне был полумрак, свет шёл только от софита, направленного на белый задник в торце (задник сцены?), и от настольной лампы в дальнем углу.

Из-за стола навстречу Горке поднялся, входя в круг отражённого света, пожилой мужчина — невысокий, в горчичного цвета вельветовом пиджаке в мелкий рубчик, с шейным платком и в очках с тонкой позолоченной оправой. Горка смотрел на его выход, вытаращив глаза: он навидался таких мужчин с волевыми загорелыми лицами в американских фильмах, но тут?!

Мужчина блеснул на Горку очками и улыбнулся, он явно понимал, какое производит впечатление, и это его грело и в то же время забавляло, судя по улыбке.

— Гольдин, — сказал он просто, — Михаил Петрович, я тут главный, — и протянул руку.

Горка пожал её (ладонь была сухой, лёгкой и крепкой), не зная, что сказать.

— Ребята, — позвал Гольдин в темноту, — выходи строиться, ученик пришёл.

Сбоку от Горки что-то хлопнуло, и на свет вышел, встав рядом с Гольдиным… моряк! Коренастый, с литыми плечами, обтянутыми тельняшкой, мужик лет тридцати. Встал и кивнул Горке. А слева колобком выкатилась деваха в комбинезоне, с забранными под косынку волосами, чисто штукатурша с плаката «Все на стройку!», только пучеглазая, в отличие от плакатной красавицы, и тоже встала рядом с Гольдиным, вытирая руки.

И так они стояли, как на сцене перед поклонами, и разглядывали Горку, а он — их. Не хватало только аплодисментов.

И Гольдин хлопнул, и наваждение спало с Горки.

— Знакомься, Егор, — сказал Гольдин, — это Дмитрий, мастер-фотограф, а это Валентина, лаборантка. Ты тоже начнёшь как лаборант, мама твоя говорила, что занимался фотографией, а там посмотрим.

Валентина хмыкнула, Михаил пожал плечами, и они разошлись по своим каморкам (справа от входа была «тёмная», оказывается, где заряжали кассеты, а слева, уходя от павильона аппендиксом, собственно лаборатория, где проявлялись плёнки и печатались снимки). Ушли, ничего не спросив, как будто и так всё про Горку знали. А, может, он им просто неинтересен был. Гольдин же усадил Горку за свой стол и принялся рассказывать, как и что будет.

Горка слушал не очень внимательно, его подмывало спросить, что именно рассказала мать, но в общем он уловил: зарплата на полгода ученичества 22 рубля (ни фига себе — ботинок приличных не купишь), потом сдача на разряд и… Тут Гольдин задумался, взялся протирать очки и закончил неопределённо: и как себя покажешь, но на жизнь хватит.

— Да, — спохватился Гольдин, — для начала освоишь с Валей составление растворов, проявку-печать, параллельно — ретушь, это моя забота, а потом уже и до камеры дойдёт. Про ФК знаешь что-нибудь? — Гольдин кивнул на стоявший на треноге посреди павильона жёлтый деревянный куб.

— Видел, — откликнулся думавший о своём Горка, — меня же тоже фотографировали.

— А, ну да, — засмеялся Гольдин, — с той стороны знаешь, значит. Конечно, фотографировали, с пелёнок, на этом и живём. И стоим, — добавил, кашлянув.

Причиндалы

Первый рабочий день на новом месте пролетел на удивление быстро: Горка старательно выслушивал наставления Валентины, запоминал про разновидности проявителей («Гидрохинон контраст даёт, — поучала Валентина, — но это надо, если на выезде снимаешь, где с освещением не сложится»), про то, как правильно экспонировать бумагу при печати со станка (увеличитель у них пылился в углу, а печать шла контактным способом, один в один с негатива), про недопрояв и перепрояв и засветку, про кюветы, которые надо промывать как следует, а фиксаж сливать в бочонок («у нас план по серебру») … в какой-то момент ему стало скучно, и тут в лабораторию заглянул Дмитрий и заявил:

— Хорош тут в темноте с Валькой тереться, айда покурим.

Валька только хрюкнула на это, и Горка с Дмитрием пошли курить.

Они уселись на крыльце, Дмитрий достал пачку «Беломора», Горка — свой Butrinti, задымили. Горка, прикинув, как лучше обратиться к Дмитрию, решил, что на «ты», и, покосившись на тельняшку напарника, спросил:

— На флоте служил? У меня брат тоже.

— Да? — оживился Дмитрий, — на каком?

— На Черноморском.

— Небось, лысым дембельнулся?

Горка не понял.

— Ну с Черноморского многие так приходили, — пояснил Дмитрий, — если не сразу лысыми, то потом, там то ли вода такая, то ли испытывают что.

Горка прикинул: у Сеньки, вроде, всё в порядке было с шевелюрой, хотя да, редкие волосы.

— А ты на каком служил? — спросил Горка.

— На Северном, — вздохнул Дмитрий, я и сам оттуда.

— В смысле? — опять не понял Горка.

— Северное, родное село, — опять со вздохом сказал Дмитрий, — в Оренбургской области, полста кэмэ отсюда. — И, не дожидаясь вопроса: — У меня жена училка, французский основной и английский, а там не было работы подходящей, вот, переехали. Живём у её дальних родственников, в такой, примерно, избе, — он с усмешкой ткнул большим пальцем за спину, на фотоателье, — я в КБО в очередь на квартиру встал, хэзэ, когда дойдёт. — И опять вздохнул.

Горке стало его жалко: такой бугай, а то и дело вздыхает, да тяжело так, прямо как бегемот. Бегемотов Горка видел только в «Клубе кинопутешественников», но и этого хватило, чтобы живо представить.

Тем временем вышла Валентина, тоже пристроилась на крыльце, сбоку, за спиной Горки, и достала из комбинезона кулёк семечек. Некоторое время они сидели молча, слушая, как Валентина лузгает и сплёвывает, потом Горка опять спросил про тельняшку:

— А ты всегда вот так на работе?

— В тельняшке в смысле? — переспросил Дмитрий. — Не-а, фланку надеваю. — И, увидев недоумение Горки, уточнил, — ну, робу, рубашку, тебе брат не рассказывал, что ли, как что на флоте называется?

— Не помню насчёт фланки, — сконфузился Горка.

— Ну ладно, — мотнул головой Дмитрий, — это не главное. Главное, ты должен усечь, что мы тут все, то есть не все, — он покосился на безмолвствующую Валентину, — а Михал Петрович и я — немножко, как бы сказать? — зазывалы, народ любит диковинки.

— И Михаил Петрович так наряжается из-за этого? — догадался Горка.

— Не скажи, — возразил Дмитрий, — с одной стороны, да, про мой флотский прикид на работе он придумал, а с другой стороны, он по жизни такой. Щегол. Западенец, короче.

— Щёголь, — машинально поправил Горка, — а западенец — это западник ты хотел сказать?

— Вот ты грамотный! — делано рассердился Дмитрий, стукнув Горку по колену, — говорю же тебе: западенец! Из Львова он, эвакуированный.

У Горки заныло под ложечкой: моряк, как его двоюродный брат Сеня, училка французского, как «его» пионервожатая Эля, Львов, куда уехал отец после развода с матерью, — многовато перекличек за один раз.

Тут подала голос Валентина:

— Михаил Петрович хороший, — протянула она плаксиво, — а ты дурак, Димка, словами козыряешь. Ты ещё про причиндалы расскажи.

Плюнула, бросила скомканный кулёк и пошла в избу.

— Вот они только и на уме у тебя, Валька, — со смехом сказал ей в спину Дмитрий. — А ведь это инструментарий, сколько раз тебе говорил!

Они тоже встали и пошли работать; Горка решил не развивать тему, хотя и не понял, при чём здесь инструментарий, когда причиндалы — это про муди и всё такое.

Днём позже, покопавшись у Равиля в словаре Ожегова, он обнаружил, что Дмитрий был прав: причиндалы — это было и про Валентиновы пинцеты и кюветы, и про фотоаппараты, вообще про вещи, не обязательно про гениталии (Горка заодно уточнил и про них, хотя знал и до этого). А про западенцев у Ожегова ничего не было, и Горка подумал, что надо будет при случае как-то тактично выпытать насчёт этого у самого Михаила Петровича Гольдина.

Лакировка действительности

С причиндалами по части проявки и печати Горка разобрался быстро, не бином Ньютона, в фотокружке проходили, а со съёмкой и ретушью возникли затыки.

Для того чтобы сфотографировать клиента, надо было накрыться матерчатым покрывалом, в темноте под ним навести резкость, двигая туда-сюда по полозьям гармошку камеры, а потом закрыть объектив крышкой, вставить кассету с плёнкой и на три секунды снять крышку, а потом снова надеть. Вот эта крышка Горку и подводила, он сдёргивал её, сбивая резкость, и слишком быстро считал, как обнаружилось.

Позировавший в качестве модели Михаил Петрович вставал, сажая Горку на своё место, подходил к камере и быстро, лёгким движением с артистичным отлётом руки смахивал крышку, а затем аккуратно водворял её на место. Губы его при этом шевелились в шёпоте — «двадцать один, двадцать два, двадцать три».

— Вот так надо, ласково, ты понял? — спрашивал у Горки, Горка кивал, вставал к аппарату и… раз на раз не приходилось.

Михаил Петрович хмурился, но подбадривал, — тренируйся, получится, и про счёт не забывай, двадцать один, двадцать два…

— В чём смысл-то?! — прицепился Горка, срывая досаду на самого себя, — «один, два, три» — и всё, зачем «двадцать»?

Гольдин посмотрел на него довольный: сейчас он про тонкость скажет.

— А затем, — сказал, — что твой счёт на полсекунды идёт, если не меньше, а когда «двадцать один» говоришь и так далее, всё точно получается.

Горка назавтра и это проверил у Равиля по секундомеру, — Гольдин был прав.

Но настоящей морокой оказалась ретушь.

Для начала надо было приготовить матолеин, растворив канифоль в скипидаре, потом мягкой тряпочкой осторожно («Нежно, — приговаривал Михаил Петрович, — нежно»; у них тут всё было «нежно») нанести его на эмульсионную сторону негатива, дать подсохнуть, и после этого, укрепив на просвет на специальном станке, начинать заделывать карандашом «Конструктор» (твёрды й нужен, на худой конец ТМ, опять подсказывал Гольдин) заделывать крошечные пятнышки белого, которые, понятно, на фотографии были бы чёрными и делали лица позировавших рябыми.

Но это легко сказать — заделывать, а надо было попасть в тон (если перекрасить, то та же рябь выйдет на снимке, только белая), а чтобы ретушь была незаметной, каждое пятнышко надо было закрашивать в зависимости от его размера и формы — какое точками, а какое — запятыми или волнистыми линиями, зигзагами, а то и микроклеточками. Ужас!

К концу второй недели таких экзерсисов Горка взмолился:

— Михаил Петрович, ну не выходит у меня! Давайте я лучше с Валькой печатью буду заниматься.

— Во-первых, уже выходит, — возразил Гольдин, блеснув на Горку очками, — а во-вторых, моё дело — научить тебя всем процессам, а там видно будет.

— Процессам, — досадливо повторил Горка, — ладно, крапинки заделывать, а складки у носа или на лбу зачем мы ретушируем? Это же буквальная лакировка действительности!

— Ты прямо как по «Правде» шпаришь, — тихо рассмеялся Гольдин, — что же плохого, если на наших снимках человек, особенно, если женщина, будет выглядеть моложе и красивее, чем в жизни? На морщинки любой в зеркале может полюбоваться.

— Ну да, — смутился Горка и перевёл тему, — а нельзя с плёнкой что-то сделать, — что она вся в этих крапинах?

Гольдин усмехнулся:

— Можно, конечно. Взять агфовскую, например, немецкую, — совсем другой коленкор, скажу я тебе. Только где её взять? Мы, сам видишь, на переславской работаем, иногда на Шостке — что пришлют по разнарядке. Конечно, — задумался Гольдин, — в Казань после войны целый завод перевезли из Германии, могли бы делать.

— И что? — спросил Горка.

— Не получается пока, как у немцев, — усмехнулся Гольдин, — не знаю, почему. Слышал, полив у них не такой выходит. А вообще, — он опять задумался, — старые пластины, начала века, можно сказать, лучше были по зернистости, посмотри, какие гладкие, сочные старинные фото.

— Лучше? — переспросил Горка, — при всём прогрессе?

Гольдин посмотрел на него хитровански и спросил:

— Хочешь, анекдот расскажу? Слушай. Умирает старый еврей, родня собралась, горюют, а один думает: пока не помер, надо выспросить у него, как он кашу варил, уж такая вкусная получалась! И спросил. А этот старый отвечает: евреи, не жалейте масла! А?! — Гольдин испытующе посмотрел на Горку, — не велик секрет.

Горка улыбнулся из вежливости, он не очень понял, где тут смеяться, и Гольдин, посерьёзнев, пояснил:

— Раньше серебра не жалели на плёнку, азотнокислого, если уж точно, оно давало качество. А сейчас…

Он вяло махнул рукой, как бы закрывая тему.

Они сидели одни в полутёмном павильоне у гольдинского стола, рабочий день закончился, Горке надо было бежать в школу. Хотя какая школа — вот же она, подумал Горка. Они часто так засиживались на первых порах Горкиного ученичества, и упражнялся Горка тоже в это время, не когда клиенты шли, и Михаил Петрович ни разу не сказал, что ему пора — показывал и объяснял, объяснял и показывал. Будто ему и не надо было домой. А, может, и не к кому было, подумал однажды Горка, и ему стало жалко Михаила Петровича. Не так, как Дмитрия, но тоже.

Шаромыга

После посиделок с Гольдиным Горка опоздал, естественно, к началу урока. Это, впрочем, не было редкостью, и другие нередко опаздывали, всё-таки рабочая молодёжь, не все успевали после смены. Так что учительница немецкого, тоненькая чернявая татарочка, старше Горки максимум лет на семь, в ответ на Горкино «darf ich?..» только кивнула, тряхнув своими смоляными завитками, и продолжила урок.

Учительницу звали Гульсина, а как по отчеству — Горка не запомнил, он её по имени называл (хотя на «вы», конечно), и она была совсем не против, кажется. Может, не только в силу небольшой разницы в возрасте (в классе были и постарше её), а потому, что мало что могла преподать, чего Горка не знал после уроков Анны Михайловны Емурановой в своей первой школе.

Это касалось не только немецкого, а и других предметов: Горка видел, что учителя не то что сами неподготовленные, а как-то не очень стараются. Или делают скидку своим разношёрстным ученикам, понимая, что многие из них пришли в ШРМ не за знаниями, а за аттестатом зрелости. И ученики это понимали, и обе стороны относились к занятиям в «шаромыге» вот именно по этому словцу, как к чему-то побочному.

Если подумать, то и само словосочетание «аттестат зрелости» звучало комично применительно ко многим ученикам ШРМ: в Горкином классе половина были мужики за тридцать, да и женщины немногим моложе, вполне себе зрелый народ. За соседней с Горкиной партой, например, сидел бульдозерист Сафин, лет сорока, с тяжёлой коротко стриженой головой с проседью и такими же тяжёлыми руками — кулачищи были, будто он в боксёрских перчатках ходил. Этот Сафин так выматывался на работе, что то и дело просто засыпал посреди урока и, зная за собой эту слабость, ставил будильник в своих наручных часах, и этот будильник за пять минут до перемены начинал тренькать и дребезжать, пробуждая хозяина, а заодно и сигнализируя одноклассникам — пора!

Первое время учителя пытались отговорить Сафина от этих установок, а потом махнули рукой — пусть! Самое забавное было, что Сафин сидел за первой партой, в ряду ближе к двери класса, а не где-то на задах, как Шерочка с Машерочкой, и спал у всех на глазах. Но думал, наверное, что этого никто не видит и будильник слышен только ему.

Шерочка и Машерочка, как прозвали эту пару одноклассники, были из числа ровесников Горки, может, на пару лет постарше, — Саша Шерман и Шура Суровейкин, и им тоже зрелости было не занимать, если иметь в виду половую: они, сидевшие за одной партой, занимались в основном тем, что посреди уроков трогали друг друга за разные интимные места, лизались и останавливались только тогда, когда учительница уже не могла делать вид, что не слышит бурного дыхания Саши и не видит, как волнуется её полная грудь, и осаживала их, остужала. Тут и остальные уже переставали делать вид, оборачивались и сочувственно хмыкали, а кто и подмигивал.

Это вносило, конечно, разнообразие в учебный процесс.

Хотя были в классе и такие Горкины ровесники, по которым было видно, что среднее образование им нужно по жизни, в видах получения высшего, то есть в видах карьеры, можно сказать. Некоторых Горка вычислил сразу, в первую очередь скромного юношу Руслана с удивительно нежным, просто персиковым лицом (Горка именно так его для себя определил — юноша, не пацан) и Талию, смешливую и грациозную, соответственно имени, казашку. (На самом деле она была ТалиЯ, с ударением на последнюю букву.) Они аккуратно посещали занятия, всегда были готовы ответить, и Горка, ехавший на старом багаже, в какой-то момент подумал, что нет: шаромыга — не шаромыга, надо подхватиться.

Укрепил его в этом решении забавный случай. Им задали на дом написать сочинение на свободную тему, Горка помаялся, не зная, какую выбрать, а потом наткнулся на флакон с одеколоном — с видом осеннего леса на этикетке — и, всмотревшись, стал описывать, какой он, этот лес, и как плачут на ветру с дождём берёзки и гордо держатся осинки. Почему ему пришло в голову, что унылые осины могут выглядеть гордо, бог весть, но на учительницу сочинение произвело такое впечатление, что она зачитала его перед всем классом, гордясь Горкой как собой. Горка смутился, но одноклассники отреагировали уважительно, по-взрослому (уж точно не так, как отреагировали бы в первой школе), и Горка лишний раз задумался о том, что нам не дано предугадать.

А год спустя в перечне предметов оказались астрономия и экономгеография; первому предмету Горка просто обрадовался — будто вернулись их ночные бдения на пасеке с друзьями Равилем и Гусманом, а вторым заинтересовался очень серьёзно: зависимость развития той или иной страны от наличия природных ресурсов, их комбинации и даже от окружающих рельефов местности стала для него важным открытием, он даже на прочитанные когда-то приключенческие романы посмотрел другим взглядом, взять хоть «Похитителей бриллиантов» или «Затерянный мир» Конан Дойля.

Нет, «шаромыга» точно не была шаромыгой.

Ленина нет, а Гольдин есть

К концу третьего месяца обучения, день в день, Михаил Петрович Гольдин вручил Горке премию — 25 рублей. Достал из бумажника три банкноты и протянул:

— Держи, Егор, премию, первый экзамен выдержал молодцом, заслужил!

Горка замялся: во-первых, никакого экзамена не было, а во-вторых, он как-то по-другому себе представлял вручение премии — с грамотой там, в рамочке, в торжественной обстановке… А тут взял человек и отдал, как будто свои.

— Не мнись, Егорка, — подал усмешливый голос Дмитрий, возившийся с камерой и делавший вид, что не видит сцену, — Михал Петрович правильно говорит, заслужил. Не забудь только, что и мы заслужили.

— Дима! — укоризненно сказал Михаил Петрович.

— А что? — возразил Дмитрий, — пусть проставляется.

Это до Горки дошло, в обеденный перерыв он сбегал в магазин, купил бутылку белоголовой за 2,87, полпалки краковской колбасы, баночку сайры и буханку серого хлеба (вышло без малого на пятёрку), и после закрытия ателье вся бригада уселась вкруг гольдинского стола. Валентина накрыла, кассирша Люба достала откуда-то рюмки на ножках, и Горка взялся разливать водку. Протянул бутылку к рюмке Михаила Петровича, но тот остановил его руку:

— Извини, я по другой части. — И достал из тумбочки початую бутылку коньяка.

Горку это резануло, другие смешались и замолчали; обстановку разрядил Дмитрий.

— Не бери в голову, Егор, — сказал он. — У Петровича от водки изжога поднимается,

— Да, — извинительно улыбнулся Горке Гольдин, — стар стал, не обессудь.

Горка кивнул, Дмитрий сказал тост «за молодую смену», при этом зачем-то ткнув в бок Любу, они выпили и принялись закусывать.

Застолья, однако, не получилось: Горка молчал, снедаемый вопросом о происхождении премии, Михаил Петрович отстранённо посасывал свою рюмку коньяка, Валентина была тоже будто не в своей тарелке, Люба, пыхтя, раз за разом стаскивала со своей коленки руку Дмитрия, а потом встала, извинилась и пошла домой. За ней и другие разошлись не мешкая, кроме Горки и Дмитрия.

— Ну вот, брат, — произнёс Дмитрий, задумчиво разглядывая и наполовину не опорожненную бутылку, — считай, ты полноценный фотограф. По портретной съёмке ещё чуток потренироваться, и вообще будет — не четвертак по случаю, а стольник в месяц. Минимум! — Он взял бутылку, вопросительно-утвердительно глянул на Горку, наполнил рюмки, — давай за это.

Горка по-прежнему относился к водке настороженно, предпочитая вина (хотя Гусман и приучил, вроде), но решил, что не уподобится Гольдину, и, чокнувшись с Дмитрием, залпом выпил.

Они пожевали колбасу, покурили, потом Горка спросил:

— Четвертак, стольник… — это откуда вообще?

— Из Любкиной тумбочки в основным, — засмеялся Дмитрий, — не от государства же!

Он снова разлил, они снова выпили, и Дмитрий начал преподавать Горке урок экономики фотоателье №1.

Урок оказался захватывающе интересным, Горка ушам своим не мог поверить. Оказывается, далеко не все клиенты платили по квитанциям и не все Любины квитанции были от КБО.

— Народ у нас, — втолковывал Дмитрий, — он вроде себе на уме и за копейку удавится, а с другой стороны — вахлак вахлаком. Ты вот на документы фотографируешь, а не спрашивал себя, чего стольким людям то и дело нужны документы?

— Спрашивал, — подтвердил Горка, — не знаю.

— Теряют то и дело — раз, портят нечаянно, по пьянке или как, — два, власть придумки придумывает — три! — воодушевился Дмитрий. — И всем надо срочнее срочного, особенно кто из деревень приезжает, не толочься же в Бугульме с ночевой.

— И что? — спросил Горка.

— А то, что им не до квитанций, им результат нужен, — припечатал Дмитрий. — Конечно, кто-то требовательный бывает, но половине — точно. А шесть фоток 3×4 — 48 копеек, а 4×5 — 60, за день человек двадцать окучить, вот тебе десятка минимум! За день! Это я не беру тех, кто «визитки» заказывает или 9×12, или портрет с видом на заднем плане 13×18, а то и 18×24 — там за кадр по прейскуранту надо отдавать не меньше трёшки.

— Погоди-погоди, — остановил его Горка, у которого от водки и расчётов напарника закружилась голова, — но учёт же и контроль, Валентина, вон, трясётся от плана по серебру…

— Ну ты точно грамотный, — засмеялся Дмитрий, опять подливая водки, — учёт и контроль, как Ленин учил, да?

Горка кивнул.

— А нет Ленина! — возликовал Дмитрий, — как и не бывало! А Михал Петрович Гольдин есть!

Горка невольно засмеялся:

— И Хрущёва нет!

— А, — отмахнулся Дмитрий, — что про этого «кукурузника» говорить! Сковырнули, и х… с ним, ещё посмотрим на этого, как его — Брежнева. Главное, что Гольдин есть!

— Ты про расходные материалы, я понимаю, — продолжил, — только и ты должен понять: у Михал Петровича такие связи, что плёнку достать — раз плюнуть, а бумага и в культтоварах продаётся. Но главное — брак! Есть по нему норматив, уложился — молодец, не уложился — удержат из зарплаты. А если работать без брака, а отчёт давать по нормативу, то что выйдет?

До Горки дошло, он машинально почесал в затылке.

— Именно! — опять воодушевился изрядно захмелевший Дмитрий, — вот поэтому тебя Михал Петрович так и натаскивает, и с нас с Валькой стружку снимает: мы должны быть мастера, а не бракоделы!

На этом водка закончилась, а с ней и урок.

Кадры решают

После Дмитриева ликбеза относительно экономики отдельно взятого фотоателье Горка стал внимательнее присматриваться к «контингенту» — к клиентам, которые иногда просто в очередь выстраивались, чтобы сфотографироваться. Они оказались вполне поддающимися систематизации. Значительную часть действительно составляли нуждающиеся в фото на документы, но погоду (и кассу, тут Дмитрий слегка перегнул) делали не они, а «механы» и женщины.

Механами Дмитрий называл курсантов соседствующего с фотографией СПТУ — сельского профессионально-технического училища механизаторов. Это были почти сплошь татарские парни из аулов, они плохо, в большинстве своём, говорили по-русски и вообще выглядели какими-то зашуганными, но очень любили фотографироваться, и не абы как, а «по фирмЕ». «ФирмА» была в данном случае в форме: механ приходил (один, а чаще с парой кунаков), облачался с помощью Дмитрия в тельник и фланку, нахлобучивал набекрень бескозырку и вставал на фоне задника, изображающего море с летящими над волнами чайками. Глаза его начинали светиться.

Съёмкам неизменно предшествовал ритуал, напоминавший шпионский: Дмитрий, завидев в дверях механа, строго спрашивал «как будем фотографироваться?», а тот отвечал заученным — «поясницам». Как пароль и отзыв. Дмитрия это ужасно веселило, он от души хлопал механа по спине и вёл в павильон.

Горке такая процедура активно не нравилась — он видел, что Дмитрий просто издевается над пацанами, а они теряются, вжимаются и приходят в себя только нарядившись во флотское. Как-то Горка сказал об этом старшему напарнику, но тот только рассмеялся:

— Ты чё, Егорка? — сказал, — это же хохма! Прикинь, они это слово из курса в курс передают друг другу, а другие слова выучить — нет ума!

— А ты по-татарски знаешь что-нибудь? — неприязненно спросил Горка.

— Я? — удивился Дмитрий, — а мне зачем? Хотя рахмат знаю, биг якши, исанбулыгыз — плавали!

Горка пожал плечами, не найдясь, что возразить.

Иногда, редко, механы приходили то ли с подружками, то ли сёстрами — такими же теряющимися при посторонних девчонками — и фотографировались парой. Но чаще девчонки снимались без них — поодиночке или группой — и тогда для них выкатывали другой задник, с балюстрадой и пальмами некоего южного курорта. Полюбовавшись видом, девчонки вставали, как Дмитрий велел, прижимались друг к дружке, и глаза их тоже начинали светиться. Впрочем, бывали и такие, у которых в глазах начинали прыгать озорные чёртики, — дерзкие такие татарочки.

Сортируя пачки снимков перед тем, как отдать Любе на выдачу, Горка рассматривал их и силился понять, зачем эти мальчишки и девчонки фотографируются в чужих нарядах, в чужом выдуманном антураже, для кого? Дмитрий, когда Горка заговорил об этом, хмыкнул:

— Это же татары, Егорка, — сказал с нажимом, — не мы с тобой, сироты казанские, — у всех большие семьи, родня по всей стране, друзья. Ты обратил внимание: некоторые раз в месяц приходят. Шлют близким, чтобы те любовались и гордились.

— Да ладно! — даже возмутился Горка, — они — эта родня и друзья — что, дети малые? Прям так и верят, что их равильки и гусманки из какого-нибудь «Кызыл тана» в моряках ходят и в Сочах отдыхают?

— А мы все, Егорка, как дети малые, — погрустнев, ответил после паузы Дмитрий, — хотим верить — верим. — И добавил, подумав: — Ну, и по доброте душевной.

— В смысле? — переспросил Горка, — они, которые получают фотки, потрафляют что ли механам?

— Да кто знает, — пожал плечами Дмитрий, — может и… как ты сказал — потрафляют? Это что вообще?

— Ну… угождают, подыгрывают, — смутился Горка.

— Ну ты грамотный! — укорил Дмитрий, — по-человечески нельзя сказать?

Тут заявился очередной механ, и прозвучало уже привычное — «как будем фотографироваться?»

Какое-то время Горка ещё раздумывал над сказанным Дмитрием о доброте и пришёл к выводу, что тот был прав, но только отчасти: главным мотивом для механов и их подружек была мечта. Их собственная, не зависящая от родственников и друзей.

И совсем другое дело были женщины. Нельзя сказать, чтобы Горка ими не интересовался раньше и не наблюдал — ещё как! — но тут увидел как бы другими глазами.

Даже самые что ни на есть простушки с виду — и те точно знали себе цену и не питали иллюзий: всем было важно выглядеть лучше, чем в жизни, и каждая понимала, чего не хватает и насколько это можно исправить.

Напудренные-накрашенные или почти без макияжа, с шестимесячными «химическими» завивками или простоволосые, они входили в павильон (их, за редкими случаями, встречал сам Михаил Петрович, это была его епархия) и, не успев усесться перед камерой, выказывали условия — кто просительно, а кто и властно: мне надо, чтобы было вот так и так, с пальчиком у щеки или с мечтательным взором вдаль, с улыбкой или строго, вполоборота или в профиль. Михаил Петрович выслушивал их, улыбаясь и доброжелательно кивая, усаживал — кого в кресло, а кого (Горка не очень понимал выбора) на вертящийся круглый стульчик для фоно («давайте спинку выпрямим, вам очень идёт»), лёгкими движениями поправлял то воротничок, то прядку, не переставая говорить какие-то ласковые слова, потом отходил, настраивал софиты — рисующий свет (иногда и контровой) и заполняющий — и на несколько секунд замирал как бы восхищённый тем, что видит перед собой. Клиентка к этому моменту была уже как пластилин — лепи, что хочешь, и Михаилу Петровичу оставалось только отдать финальную команду («головку чуть выше» или «смотрите на моё плечо», например) и — «двадцать один, двадцать два, двадцать три».

Он тоже точно знал про своих клиенток, что почти все они, выказывая свои «особые» пожелания, подсознательно держали в уме образы кинозвёзд с открыток Бюро пропаганды советского киноискусства (их собирание было повальным увлечением и среди подростков, и среди взрослых), и он тоже держал коллекцию таких открыток, а кроме того вдумчиво читал и «Советский экран», и «Советское фото», у а ещё и чехословацкое фоторевью.

В общем, Михаил Петрович был мастер, конечно, к Пастернаку не ходи, и он любил, кажется, своих клиенток — не только потому, что они несли деньги. Уж одну — точно. Её звали Маша Простакова и она была профессиональной бугульминской проституткой.

Маша Простакова

Она закалывала юбку булавкой! Это поразило Горку больше, чем её выдающиеся, под стать королеве Шантеклера, формы. Он и познакомился с ней, можно сказать, через эту булавку.

Был вечер, Горка закончил дела и вышел из лаборатории в павильон, чтобы попрощаться с Гольдиным до нового рабочего дня. Вышел и встал. Гольдин сидел к нему спиной за ретушевальным станком в какой-то странной позе, подперев голову одной рукой и ухватившись другой за угол стола, а перед ним, почти вплотную, стояла фигуристая женщина, лет под тридцать, и возилась с чем-то сбоку на поясе. А Гольдин сидел и смотрел. Как — Горке было не видно, он шагнул вправо, к центру павильона, меняя ракурс, и увидел, что смотрит Михаил Петрович тепло и даже мечтательно, только очки светятся от настольной лампы. А женщина всё возилась, взглядывая на него с извинительной улыбкой, но наконец справилась, и тут у Горки сам собой открылся рот: юбка соскользнула с бёдер, и она осталась в кружевных полупрозрачных панталончиках и поясе, поддерживающим чулки.

— Вот так, — сказала с облегчением, — для милого дружка и серёжку из ушка! Да, Миша?

Горка поперхнулся, они обернулись и увидели его.

— Егор, ты всё? — спросил слегка смущённый, как показалось Горке, Гольдин, — домой сейчас или сразу в школу?

Горка неопределённо мотнул головой, не в силах отвести глаза от чресел незнакомки и пытаясь сообразить, что же это сейчас было и зачем, а женщина, всмотревшись в него, вдруг спросила, как пропела:

— Нравлюсь тебе, жеребёночек?

Горка снова мотнул головой.

— Я всем нравлюсь! — весело и гордо сообщила она, явно собираясь рассказать почему, но Гольдин перехватил инициативу:

— Прекращай, Мария, — сказал он сухо, — лучше булавку себе купи приличную… или бечеву, чтобы подпоясываться.

Мария на это вроде обиделась, но промолчала, подобрала юбку и аккуратно повесила на спинку стула.

Горка перевёл взгляд на неё, — серая плотная юбка, дорогая по виду… «Может, она от сглазу булавку цепляет, — подумал Горка, мать тоже норовила пришпандорить её куда-нибудь в незаметное место на его одежде, — с изнанки штанов или пиджака, — да нет же, тут что-то другое; может, она бедная, и эта юбка у неё на всё про всё?»

Додумать ему не дали, Мария сухо, в тон Гольдину, спросила: «Так мы работаем сегодня, Михал Петрович?», Гольдин замахал на Горку руками, и он ушёл.

Маша Простакова не была бедной, уж по бугульминским меркам точно. Во всяком случае в этом был абсолютно уверен Дмитрий, которому Горка рассказал поутру во время перекура об увиденном накануне.

— Машка, — она, знаешь, сколько сшибает за ночь за долбёжку? — спросил Дмитрий, — у меня жена за месяц столько не получает!

— Да ладно! — усомнился Горка, — заливать-то.

— А вот и неладно! — вдруг разозлился Дмитрий, — люди за копейку горбатятся, а пидары могут полста за ночь с такой блядью, как Машка, выложить и хоть бы хны им!

Горка подумал, что Дмитрий маханул насчёт пидаров, они вообще-то по другой части, да и насчёт блядей тоже (в Горкином представлении бляди давали из удовольствия, а не за деньги), но решил не нарываться на очередной упрёк в грамотействе и промолчал.

Дмитрий тоже замолчал, что-то обдумывая, потом продолжил, уже спокойно:

— Машку жалко, вообще-то. Она такая ладная, красивая — и не дура, скажу, могла бы… — Он замешкался, не найдя, что «могла бы», и махнул рукой, — короче, мается она, вот и придумывает всякие прибамбасы, — булавку эту, про серёжку из ушка. Ты её вчера в первый раз увидел, а я уж давно смотрю, она к Петровичу раз в недельку-другую захаживает, играет с ним, волнует, фотосессии устраивает…

— Фотосессии? — переспросил Горка.

— Ну да, — кивнул Дмитрий, — Петрович говорит, чтобы клиентов зазывать, а я думаю, что в основном для себя, собой полюбоваться. Может, потом, когда постареет.

Вскоре выяснилось, что Дмитрий был не прав и насчёт фотосессий. То есть не то чтобы вскоре, а после того, как Горка рассказал о сцене с Машей Равилю и Витьке Маслову (тот исподволь занял в их компании место Гусмана, редко наведывавшегося в Бугульму из своего техникума в Октябрьском), а Равиль с чего-то решил, что его отец может что-то знать, и не ошибся, — улучил момент и расспросил, а отец рассказал.

В Равилькином пересказе выходило, что вообще-то Простакову в Бугульме знали многие и что она действительно подсовывала свои фотографии («Неглиже, прикинь», — щегольнул словцом Равиль.) официантам в ресторанах и администраторам в гостиницах, а те, значит, показывали их своим клиентам, и, если те клевали, Машка своим посредникам приплачивала. «Комиссионные, Горка, понимаешь?» — снова щегольнул Равиль.

Горка понимал, хотя укладывалось в голове с трудом: получалось, что тут прямо бизнес крутился, и Машка была куда как оборотистей всех, кого он знал. Хотя… как — «оборотистей»? — гостиниц и ресторанов в Бугульме было ровно по три, много тут назазываешь? Горка начал считать, прикидывая оборот клиентов и гонорары Маши (поделив Дмитриеву ставку на два — не поверил, что кто-то может отдать 50 рублей вот за это), по деньгам выходило так себе, но она же жила с этого! Хотя Дмитрий обмолвился, что в какой-то конторе у неё трудовая лежит, чтоб в тунеядку не записали, — значит, есть и обычная зарплата. В общем, Горка запутался и плюнул: бизнес — это было не про него.

А Маша захаживала — всегда под конец рабочего дня — улыбалась Горке, перешучивалась с Гольдиным (он иногда называл её Простатовой, — она обижалась, а иногда, ласково, — Марией-блудницей, и она рдела как старшеклассница), фотографировалась, а то просто просила Михаила Петровича допечатать ей снимков со старых негативов, были у неё какие-то избранные. А однажды попросила пачку фиксажа, даже две, Гольдин кивнул Вале, она вынесла стограммовые пачки, Маша сунула Гольдину рублёвку, чмокнула в щёку и ушла.

Гольдин, поймав недоумевающий взгляд Горки, усмехнулся, поколебался, потом сказал:

— На живца собралась ловить.

— ?

— Вот посыпет этой крупы, и попался карась!

Горка фыркнул обиженно, Гольдин вздохнул и усадил его за свой стол.

— Ладно, — сказал, — я вижу, ты неравнодушен к ней (Горка опять фыркнул), давай я тебе проясню.

Уселись, Гольдин, к Горкиному изумлению, извлёк из тумбочки бутылку коньяка, две рюмки, разлил, кивнув Горке, давай, мол, пригубил сам и причмокнув, продолжил:

— Маша — она непростая, чтоб ты знал, она и хитрая, и простодушная… В общем, хочет и рыбку съесть, и на… ну, ты знаешь.

Поговорку Горка знал, но она ему тут ничего не объяснила.

Гольдин, уже начиная досадовать на него, заговорил с нажимом:

— Замуж ей надо, понимаешь, она не просто деньги зарабатывает, а ищет!

— Среди кого? — опешил Горка, — среди тех, кто ей за секс платит?!

— Не буквально, — поморщился Гольдин, — но вот пришла она в ресторан, осматривается, и на неё смотрят, есть ведь на что, — и думает: вдруг выпадет познакомиться, сойтись без разговора о деньгах…

«Ну да, — подумал Горка, — где вообще в Бугульме знакомятся — на танцах или в рестике».

— Фиксаж-то тут при чём? — вернулся к началу Горка, — и «живец»?

— У тебя по химии какие оценки были? — вдруг спросил Гольдин.

Горка удивился, но ответил:

— По неорганической «пятёрка» итоговая, по органической…

— Вот-вот! — шутливо подчеркнул Гольдин, — пробелы есть. Что такое фиксаж, скажи.

Горка пожал плечами:

— Натрий в основном.

— Тиосульфат и сульфит натрия, — уточнил Гольдин, — а ещё и уксусная кислота. И что они делают?

— Михаил Петрович, — взмолился Горка, — да знаю я: галогены нечувствительными к свету делают, закрепляют изображение.

— Это к плёнке и фотобумаге, — снова уточнил Гольдин, — а вот ты руку сунул в раствор и что чувствуешь?

Горка задумался, потом сказал неуверенно:

— Сушит или, точнее сказать, стягивает кожу.

— Именно! — обрадовался Гольдин, — именно, молодой человек! Стягивает! Это Машке и надо: сядет в тазик с раствором на полчасика или проспринцуется, и всё у неё там стянулось, — наша путана опять девственница!

Горка смотрел на Гольдина во все глаза — он его разыгрывает, что ли, как такое возможно?!

Гольдин был, вроде, серьёзен, хотя и что-то бесовское просверкивало в его прищуренных глазах.

Он помолчал, потом проникновенно сказал:

— Женщины, они, Егор… Вот посмотри на мои руки: подагра подкралась уже, и как я лечусь по-твоему?

— И как? — предчувствуя новый поворот, с опаской переспросил Горка.

— А исключительно с женской, так сказать, помощью! — И, рассматривая свои пальцы, мечтательно продолжил, — вот лежишь ты с ней, на всё уже готовой, а брать не торопишься, ласкаешь её, а ладонь тихонько ей в кошёлку, тихонько — и целуешь кралю свою, целуешь… А пальцы там, в тепле и влаге…

У Горки пересохло во рту: он пытался представить, как всё это происходит, воображение рисовало развалившую ноги томную Простакову, но ладонь ТУДА?! Это казалось Горке невозможным, и он решил, что Михаил Петрович его дразнит. Собравшись с духом, попрощался с наставником и пошёл в свою шаромыгу.

Дело, однако, обернулось так, что Гольдин и не соврал, может, во всяком случае насчёт фиксажа: неделю примерно спустя после его закупки Простакова пропала, уехала из Бугульмы, как сказал всезнающий Дмитрий. Он это Горке сказал, почему-то предупредив, что «Михал Петровичу этого знать не надо», но Горка не вытерпел, конечно, и поделился с Гольдиным.

— Это тебе Димка сказал? — покривившись спросил Гольдин, — а ему жена, конечно; все сплетни наши учителя собирают, никакого ЦРУ не надо!

«И КГБ», — подумал Горка.

— И КГБ тоже, — прочитал его Гольдин. — Всё знают!

Он помолчал, потом невесело рассмеялся и сказал:

— Теперь веришь про фиксаж и подагру? То-то. Случилось у Марии, сложилось, нашёлся какой-то пентюх — то ли грузин, то ли армянин, — увёз невесту. Ну, и дай бог им счастья. Закончена тема, работать надо.

…Она заявилась в фотоателье через лето: поблёкшая, какая-то потёртая… и с костылём, — левая нога у Маши была отчекрыжена по колено. Все просто остолбенели.

Все остолбенели, а она казалась весёлой: уселась по-хозяйски к гольдинскому столу, достала из авоськи бутылку трёхзвёздочного армянского коньяка, кулёк конфет, сигареты, скомандовала Валентине — накрывай! И, закурив, спросила:

— Вам всё рассказать или можно без подробностей?

Все промолчали, и она рассказала как хотела.

Из рассказа вышло, что всё у неё с избранником (она так и сказала, слегка усмехнувшись) было на мази — и дом богатый, и любил он её как не знай кто, а потом случилась беда: ей зачем-то надо было съездить в соседний курорт, на пригородном, она сорвалась со ступени вагона, и поезд отрезал ей ногу.

— А он молодой, у него вся жизнь впереди, я обузой никому не была и ему не стала! — закончила Маша с вызовом. И заплакала.

Все молчали. У Михаила Петровича ломались в пепельнице папиросы, Горка смотрел в пустоту. Ему было мучительно стыдно: он не мог отделаться от ощущения, что всё это — какое-то индийское кино и ошмётки историй Катюши Масловой, Анны Карениной, ещё кого-то, смутно приходившего на ум, пародия, в общем, а в то же время вот же она, Маша Простакова, сидит напротив, совсем не киношная…

— И что же ты теперь? — донёсся до него голос Дмитрия.

— А что? — откликнулась Маша, — мама тут, жива-здорова, слава богу, пенсию получает, я тоже — по инвалидности; проживём! Ладно, мужики, поскачу я, а то договоримся тут… до соплей.

Всем ателье они смотрели, как она переходит дорогу к горсаду и скрывается за воротами; бёдра у неё покачивались как и раньше, отметил Горка, плавно. И булавка была на месте.

На испуг

Хер его знает, откуда он взялся, этот мужик.

Такой день был хороший — середина апреля, солнце, с крыш капает, снег уже крупяной, рассыпчатый, растекается под ногами, воздух — пить можно взахлёб, и вот идут они, без пяти минут полноправные граждане Страны Советов, в кино собрались на дневной сеанс, на «Родную кровь», и тут из подворотни вываливается какой-то бугай и налетает на Гусмана.

Он так налетел, что Гусман, бывший по-прежнему в «весе пера», чуть кубарем не покатился!

— Ты чё, мужик! — зло спросил Равиль, подхватывая друга, — вообще уже?

Мужик посмотрел на него мутно и тоже спросил:

— Чё базаришь? За базар отвечают.

Горка присмотрелся к нему: лет под сорок, в ржавом бушлате, резиновых сапогах, руки в наколках…

— Пошли, Равилька, — потянул Равиля за рукав, — ну его в жопу!

— Куда?! — вдруг взревел мужик, — ах, вы пидары, я щас!

И — резко сменив тон, деловито, мотнув головой в сторону двора:

— Айда-ка зайдём, я вам покажу, блядь, жопу!

Они стояли, не зная, как быть, потом Равиль, шумно выдохнув, сказал:

— Ну веди, посмотрим.

Двор был нечищенный от снега, и они шли за этим мужиком по тропке, гуськом. Прошли метров десять-пятнадцать, на прогалине мужик повернулся к ним и вытащил из-за пазухи здоровенный нож, складной («Может, наваха такая была», — подумал Горка, вспомнив Буссенара.) и, неотрывно глядя на стоявшего напротив Равиля, медленно раскрыл. («На стопоре», — успел подумать Горка, услышав щелчок.)

— Ну, кто тут насчёт жопы? — спросил мужик, булькнув горлом.

Он, может, и ещё что-то хотел сказать, но тут Гусман, вывернувшись из-за Горкиной спины, прыгнул ему в ноги, а Равиль с размаху, по-бабьи, со всей силы ударил мужика в скулу. Тот пошатнулся, теряя равновесие, упал навзничь, и они, все трое, кинулись на него, молотя руками и ногами куда ни попадя.

Всё это длилось минуты две — максимум; мужик захрипел, друзья увидели, что снег вокруг его головы сплошь заляпан кровью, и остановились. Как по команде.

Квартал примерно они пробежали рысью, потом успокоились, но когда ввалились в туалет кинотеатра, всех ещё потряхивало, Равиля особенно.

Сеанс уже начался, из-за стенки глухо доносилась какая-то сладко-тоскливая латинская мелодия, в туалете никого не было, и они принялись осматривать друг друга — брюки, куртки, Горкино пальтишко — всё вроде было чисто. Но Равилькины ботинки… Замшевые, со шнуровкой на заклёпках, на толстой литой подошве — они все были в бурых пятнах! Родители подарили их Равилю на день рождения, он так ими гордился, даже металлические набойки приколотил на носки и каблуки, чтобы подольше сносу не было, а тут…

— Ох, блядь! — только и выговорил Равиль, чуть не плача.

— Ты не охай, — посоветовал Гусман, — сними и замой вон в раковине. Кровь смывается

Равиль с Горкой вытаращились на Гусмана — знаток нашёлся, но Равиль послушался, содрал ботинки с ног, даже не расшнуровывая, и принялся тереть под струёй воды. И снова охнул и выматерился, показывая друзьям: между набойками и носками подошв что-то торчало… какая-то щетина.

— Эпидермис, — машинально сказал Горка.

— Пиздермис, — хмуро поправил Гусман, а Равиль растерялся:

— В смысле?

— В смысле — кожа с башки того мужика, — пояснил Гусман. — Ты с него скальп снял, джигит. Дело пахнет керосином.

— Нефтью ещё скажи! — огрызнулся Равиль. — Что теперь делать-то?

Что делать конкретно именно теперь, было понятно, впрочем, — Равиль и Горка поделили ботинки и принялись спичками выковыривать из зазора между набойками всё, что там застряло, — кусочек за кусочком, волосок за волоском, выковыривать и смывать, выковыривать и замывать.

Гусман стоял поодаль и выщёлкивал в потолок горящие спички. Забава такая была: муслякаешь спичку, набираешь на мокрый конец извёстки со стены, поджигаешь и выщёлкиваешь в потолок. Если ловкий, то спичка мокрым концом прилипает там и догорает, скукоживаясь и оставляя сажные следы. Весь потолок в «мировском» туалете был утыкан такими спичками-свечками наоборот — не один Гусман был ловким. А у него в этот раз получалось не очень: спички то гасли, не долетев, то не прилеплялись.

На следующий день они собрались у Равиля — обсудить, что и как.

— Кто-нибудь что слышал? — спросил Равиль.

Горка с Гусманом дружно мотнули головами — нет.

— И я нет, — задумчиво сказал Равиль. — Оклемался?

— Не факт, — возразил Гусман, — сутки — не срок, надо выждать, поспрашивать…

— Г*у*сман, — поморщился Равиль (он делал ударение на первом слоге имени друга, когда хотел поддеть), — ты же у нас умный, вроде, — у кого поспрашивать? Сразу у милиции? Если что — бабки сами разнесут, весь город знать будет.

И, увидев, как обиженно съёжился Гусман, — спросил уважительно:

— Ты лучше скажи — борьбой что ли стал заниматься? Так ловко ему коленки заплёл.

— Ну да, — кивнул всё ещё обиженный Гусман, — вольной, у нас большая секция.

Горка слушал их и думал о другом, — о том, что вспыхнуло в них накануне — тёмное, дикое. Во всех, и в нём тоже.

Понятно, что они сильно напугались, но могли ведь просто убежать, хрен бы он их догнал, да и не стал бы, наверное. Или просто не пойти за ним во двор, а они пошли, как заворожённые, как овечки на закланье. А кинулись как звери. Горка вспомнил, как читал где-то объяснение, почему одни люди замирают от испуга, а другие срываются с места и бегут: потому что одни произошли от обезьян, живших на деревьях, они могли убиться, сорвавшись от страха, а другие — от живших на земле. Объяснение было красивым, но тут не подходило, тут было что-то другое.

— А ты что молчишь? — услышал он голос Равиля, — соображаешь, кому сколько дадут, если поймают нас?

— Да нет, — вяло отмахнулся Горка, — я думаю, зачем мы с ним так.

— Как?! — взъелся Равиль, — а что, надо было расшаркаться, «месье, силь ву пле»?! Он нас, с-сука, на испуг решил взять, ты не понял, что ли?

— Так он и взял, — вздохнул Горка, — мы испуганные и сидим.

— А он лёг! — с вызовом возразил Равиль и, успокаиваясь: — Алла бирса встал потом.

— Ну ты даёшь! — засмеялся Гусман, — Аллаха вспомнил!

Равиль зыркнул на него, но промолчал. И Горка промолчал, до него дошло, что испуг у них был один — за свою жизнь. И тогда, и вот сейчас, когда невесть что решало, сломаются их жизни напрочь или нет.

В тот раз обошлось. То ли мужик в самом деле оклемался и уполз куда-то зализывать раны, то ли он был из тех, до кого никому вообще никакого дела нет, и его труп сметливые самаритяне просто сволокли в какой-нибудь заброшенный подвал — догнивать. Может, ещё и извёсткой присыпали.

Фотоаппарат, велосипед и жена

С некоторых пор Горка стал замечать, что всё хуже разбирается в людях.

Когда он был маленький, то точно знал, кто хороший, а кто плохой. Улыбается тебе человек, говорит что-то ласково, как мама, например, он хороший; злится, ругается — значит, надо держаться от него подальше. И ум, конечно — это для Горки было главным. Он был на все сто уверен, что если умные глаза, как у Ленина, — такой человек не может быть плохим.

Это убеждение сильно поколебал, конечно, Равилькин дядя, целый кандидат наук Анатолий, с которым Горка в хлам разругался как раз из-за Ленина, поколебал, но не разрушил; Горка решил, что тут исключение, подтверждающее правило, ведь вообще-то умные, которых Горка встречал, не делали ничего плохого и не говорили ничего, что Горка не мог принять.

И вот явился Гольдин (конечно, наоборот на самом деле, но не важно), и чем больше Горка наблюдал за ним, тем больше путался.

Михаил Петрович однозначно был умным (хотя, кажется, не очень начитанным, — о книжках он с Горкой ни разу не заговаривал), но каким-то… ускользающим. Не скользким, на таких Горка в первой школе насмотрелся, а вот именно что ускользающим: часто невозможно было понять, шутит он или всерьёз, вправду думает, как говорит, и вообще, — есть ли что-то, к чему он относится серьёзно, кроме своей работы, конечно.

Повод задуматься об этом возник буквально в первый день Горки в фотоателье, когда Гольдин, наставляя его, сказал странную фразу: «Никому не доверяй три вещи — фотоаппарат, велосипед и жену». Горка вообще-то готов был пропустить это мимо ушей, но Гольдин повторил — с нажимом, очень серьёзно, и Горка стал искать смысл.

Про фотоаппарат было понятно — кормилец в гольдинском случае, про жену — более-менее тоже (не считая того, что она оказалась последней в списке, если, конечно, не прочитать справа налево), но велосипед?!

На прямой Горкин вопрос Гольдин ответил расплывчато — «велосипед, это, брат, знаешь…», но глаза его вдруг повлажнели, и это Горку торкнуло, — он стал думать, что такое могло быть в жизни его начальника, чтобы он с таким чувством относился к «чуду — лисипед: жопа едет, ноги — нет», как шутили пацаны. В принципе, и тут большого ума не надо было, чтобы предположить, что велосипед запал Михаилу Петровичу в душу в детстве, — Горка сам был на седьмом небе, когда отец купил ему «Орлёнка», но порадовался-порадовался и привык, покупку матерью взрослого велика воспринял уже как что-то будничное, как должное, можно сказать. А чтобы столько лет спустя у пожилого уже человека глаза оказывались на мокром месте при воспоминании… А сколько лет? — вдруг озадачился Горка и пошёл с вопросом к Любе, которая у них заведовала бумажками.

— Да он старый уже, Михал Петрович наш, — почему-то укоризненно ответила Люба, — девятьсот четвёртого года, ты не смотри, что он хорохорится.

«Опа, — подумал Горка, — всего на два года моложе отца». И в выходной пошёл в библиотеку, искать про велосипеды в начале, получалось, века.

Бугульминскую городскую библиотеку, к тому времени переехавшую из шаткого деревянного дома дошкольных Горкиных времён в кирпичную пятиэтажку на Коробковского, Горка считал хорошей, даже очень (хотя что-то из неё выветрилось после переезда, какая-то тёплая затхлость), но тут она его разочаровала: про велосипеды нашлась всего одна брошюрка, причём только про спортивные, и статья в Большой советской энциклопедии, из которой нельзя было узнать, какие были велосипеды в пору гольдинского детства или юности и как вообще всё это происходило-развивалось.

Зато в БСЭ подчёркивалось, что первый двухколёсный велосипед с педалями был построен в России крепостным мастером Артамоновым, и он так обрадовался (про радость в

энциклопедии не было, это Горка додумал), что проехал на нём от Верхотурья (под Пермью) до Петербурга, и было это в 1801 году. То, что в России много чего было изобретено впервые в мире, Горка знал ещё со второго класса, когда отец подарил ему картонный «конструктор» с набором раскрашенных картинок, на которых были изображены разные машины и механизмы, и если ты правильно тыкал металлической ручкой, отвечая на печатный вопрос, то загоралась лампочка (в «конструкторе» была батарейка для карманного фонарика). Так Горка узнал, что радио изобрёл Попов, паровоз — братья Черепановы, «лампочку Ильича» — Яблочков (много позже, уже взрослым, Горка с тоской узнал, что долгие годы эти лампочки светили в парижах и где ни попадя, а Россия оставалась во мгле), а уж про Менделеева и Кулибина и говорить было нечего — кулибиным дразнили каждого выдумщика, а про Менделеева любой забулдыга знал, что он изобрёл не только свою таблицу, а и водку. Теперь, значит, выходило, что и велосипед изобрели в России.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.